

Семен Венгеров

Писатель-гражданин



Семен Венгеров

Писатель-гражданин

«Public Domain»

1902

Венгеров С. А.

Писатель-гражданин / С. А. Венгеров — «Public Domain», 1902

«Наступает пятидесятилетие заключительного момента одной из самых страшных драм, какие только знает история человеческих страданий. Драм, тем особенно страшной, что вся она произошла без всякого внешнего повода. Нет в ней тех ударов судьбы, которые мы привыкли видеть, как в драмах, созданных воображением писателей, так и созданных самою жизнью и в необычайности которых сознание страдающего под их тяжестью находит своего рода утешение. В трагическом завершении жизни Гоголя весь узел драмы был в собственной психологии страдавшего, в том, что всю жизнь он тосковал, всю жизнь метался в тревожных поисках. Мучительно искал он сначала пути, на котором мог бы выразить всю полноту того, что скопилось у него на душе, а затем с тою же мукою усомнился, правилен ли найденный путь, не смотря на весь блеск и утехы славы, к которым он его привел...»

© Венгеров С. А., 1902

© Public Domain, 1902

Содержание

I	8
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Семен Венгеров

Писатель-гражданин

Наступает пятидесятилетие заключительного момента одной из самых страшных драм, какие только знает история человеческих страданий. Драм, тем особенно страшной, что вся она произошла без всякого внешнего повода. Нет в ней тех ударов судьбы, которые мы привыкли видеть, как в драмах, созданных воображением писателей, так и созданных самою жизнью и в необычайности которых сознание страдающего под их тяжестью находит своего рода утешение. В трагическом завершении жизни Гоголя весь узел драмы был в собственной психологии страдавшего, в том, что всю жизнь он тосковал, всю жизнь метался в тревожных поисках. Мучительно искал он сначала пути, на котором мог бы выразить всю полноту того, что скопилось у него на душе, а затем с тою же мукою усомнился, правилен ли найденный путь, не смотря на весь блеск и утехы славы, к которым он его привел.

Есть целый ряд объяснений гоголевской тоски. Главнейшие из них сводят ее либо к причинам патолого-психиатрического свойства, либо к тому, что Гоголь пал под тяжестью тех огромных ожиданий, которые на него возлагали после «Ревизора» и «Мертвых душ» и оправдать которые он не чувствовал себя в состоянии.

Ни одно из этих объяснений не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики, потому что они либо фактически неверны, либо скользят по поверхности. Особенно поражает своею несостоятельностью весьма, однако, распространенное убеждение, что Гоголь впал в безысходную тоску от сознания своего творческого бессилия. Это убеждение основывается на том, правда, весьма важном факте, что Гоголь собственноручно сжег вторую часть «Мертвых душ». Но при этом никто, однако же, не обращает внимания на ничтожность промежутка, отделяющего выход первой части «Мертвых душ» от «Избранной переписки с друзьями», где с такою торжественностью говорилось об уничтожении продолжения великой «поэмы». «Мертвые души» появились в 1842 г., «Переписка» в 1846 г. уже вышла в свет, но начата гораздо раньше: первые письма, вошедшие в нее, относятся к 183-4 г. Когда же, спрашивается, Гоголь мог почувствовать так ясно свое бессилие, чтобы впасть от сознания его в безнадежное отчаяние? Всякое свое произведение Гоголь вынашивал долгими годами, бесконечно их переделывая и даже создав целую теорию многолетнего «вылеживания» произведений в авторском портфеле. У него и в ранних годах, в период полного расцвета творческих сил, были годы, когда он почти ничего не писал. Таков, например, весь 1833 год. Но он от этого, однако, не впадал в отчаяние и подчас добродушно сам подсмеивался над собою в письмах к близким и только ругал свою «лень». А тут вдруг через два года, когда еще не остыл пыл первых похвал, когда еще в критике ломались копья за и против великого произведения, Гоголь почему-то должен был так безнадежно-ясно узреть свою неспособность оправдать великие ожидания, чтобы печатно поставить крест на всей своей писательской деятельности.

Несравненно больше правдоподобия в попытках медицински-психиатрического объяснения гоголевской тоски. Очень может быть, что оно фактически-верно, даже оставляя в стороне соблазнительную теорию сродства гения и ненормальности. Весьма вероятно, что в индивидуальной психо-физической организации меланхоличного с самых ранних лет Гоголя было определенное предрасположение к его печальному концу, к той страшной подавленности, при которой какой-нибудь иступленно-невежественный изувер мог стать полным повелителем его исчезающего сознания.

Но допустим даже полную обоснованность гипотезы психиатрического происхождения беспокойного метания Гоголя и его болезненных поисков «настоящего» пути. И все же мы не получаем тут ключа к пониманию того *разряда* нравственных страданий, которые с

такую мучительностью преследовали Гоголя целую половину жизни, чтобы не сказать всю. Ведь «незримые миру слезы» душили его грудь и в эпоху полного расцвета его «видимого смеха», когда еще и помина не было ни о явно-психиатрических проявлениях последних лет, ни об упадке творческой силы. Почти одновременно с Гоголем умер уже всецело принадлежащий психиатрии Батюшков, человек тоже с очень тонкой душевной организацией и изящным духом. Однако же, в творчестве Батюшкова, за сравнительно незначительными исключениями, совершенно нет грустных нот и в истории русской литературы он один из самых ярких представителей, вакхических возгласов в честь любви и наслаждения. Психиатрическое объяснение, следовательно, ровно ничего не объясняет. Оно только указывает почву, на которой создается душевная неуравновешенность, но ни мало не определяет ни её форм, ни её проявлений. Даже при явном и формальном нарушении сознательной деятельности, не почва является определителем отклонения от нормы, а те семена, которые в нее брошены окружающим миром. Вспомните гаршинский «Красный цветок», в одно и то же время и глубоко-реальный, и глубоко-символистический, в одно и то же время и «выдумка», и горькая автобиографическая правда. Красный цветок, получивший в больном мозгу героя рассказа такое необычайное значение, символизирует собою мирозерцание всего поколения, к которому этот герой принадлежал. Безумие его заключалось только в том, что он представлял себе так удобоисполнимой победу над, злом. Но в самом порыве, в страстном стремлении сорвать все зло мира безумный представитель поколения семидесятых годов ярко отразил [собою заветные думы всех своих сверстников.

Свойства гоголевской тоски также переносят ее из узкой и патологической сферы личного недуга, личной меланхолии в широкую область общественных настроений. Великий представитель великого народа, Гоголь выразил в своей тоске один из знаменательнейших моментов в истории самосознания этого народа. Будь его тоска его личным недугом или свойством, он бы ею никого не заразил, а если бы кого и заразил, то к невыгоде. Но на самом деле гоголевская тоска по общественном и нравственном совершенстве, под конец разошедшаяся с лучшей частью общества в путях достижения, но не в силе и свойствах самого порыва, явилась творческим началом всей последующей русской литературы. Велика и славна теперь во всем мире русская литература и славна именно своею тоскою по идеалу, тем, что ей, по гоголевскому возгласу в одной из самых «веселых» его повестей, «скучно на этом свете», доколе в нем властно царит пошлость. Все это идет от Гоголя и странным недоразумением является часто дебатлируемый вопрос: от кого пошла новейшая русская литература – от Пушкина или от Гоголя. Она пошла и от того, и от другого. В лице Пушкина подражательная до него русская литература обрела свой собственный духовный облик, стала по творческой способности наряду с литературой самых культурных европейских народов. Пушкин дал ей «этот чудный, мощный язык», хранить который во всей его неприкосновенности завещал своим преемникам целых полвека спустя умирающий Тургенев, дал ей недосыгаемые до сих пор образцы художественной гармоничности и законченности, наконец, вывел ее на путь здорового реализма, идя по которому, простота не рискует впасть в низменность и вульгарность. В лице Пушкина литература в России перестала быть забавою и превратилась в национальное дело, к которому сказала вся мощь народного духа. Но Пушкин именно выразил только полноту сил. Пушкин – это ясная улыбка пробудившегося сознания своей мощи, радостное ощущение переливающейся по всем жилам молодой, свежей жизни. Но такое довольство не могло долго длиться, как не длится долго радостное возбуждение и в реальной жизни вошедшего в полную силу человека. Не замедлили овладеть лучшей частью молодого русского общества и тревога, и мятежное искание. Эти порождения душевной неудовлетворенности были уже чужды Пушкину, как выразителю совсем иной стадии развития русского духа, как человеку, удивительно-художественная цельность которого была проявлением натуры ясно-созерцательной, стремящейся к стройности и гар-

моничности и органически-враждебной всяким диссонансам. В этом смысле новейшая русская литература с её «святым недовольством», с её лихорадочною порывистостью не могла пойти от Пушкина. Общий мажорный тон пушкинской поэзии не подходил более к новому настроению. «Я слез хочу, певец», говорила эта новая душевная потребность и, как всякое сильное настроение, быстро нашло выражение в наиболее одаренных представителях своего времени – в горьком смехе Гоголя и мрачном озлоблении Лермонтова.

Раз сдвинутая сильным импульсом с той или другой позиции, общественная мысль не может не дойти до полного своего логического развития, если в основе его лежит действительно глубокое чувство. В частности по отношению к Гоголю, орудие такой страшной силы, анализ такой сокрушающей едкости, какой дан ему был в удел от природы, не мог не привести к самым разительным результатам, как только он был приложен к крупным явлениям жизни. Пусть сам Гоголь испугался своих произведений, пусть он по поводу «Ревизора» уверяет себя и других, что напрасно «частное принимать за общее, случай за правило» (Письма I, 371). Было поздно. Ударив якобы только по «шести чиновникам», бич его сатиры в действительности ударил по всему строю общественно-государственной организации. Прокатившись затем вместе с Чичиковым по России и откопав в этой поездке только коллекцию нравственных уродов и в лучшем случае Тентетниковых и Маниловых, Гоголь дал такую пищу общественному анализу, который уже ни к чему другому не мог привести, как к сознанию полной несостоятельности такой безотрадной действительности. Вот почему тоска и отчаяние Гоголя носили в себе творческое начало, вот почему он навсегда останется дорог русской общественной мысли, как писатель-гражданин по преимуществу.

Задача настоящей статьи извлечь из новых материалов о Гоголе, появившихся в последнее время, новые доказательства того, что духовное существо Гоголя было прямо переполнено гражданскими стремлениями и при том вовсе не так бессознательно, как обыкновенно принято думать.

I

На первый взгляд ни к кому из русских писателей неприменимо в такой степени понятие о бессознательности творчества, как к Гоголю. Относительно большинства других великих представителей русского слова можно установить прямую и непосредственную связь между их теоретическими воззрениями и их художественною деятельностью. Возьмем опять Пушкина, с которым мы уже сопоставляли Гоголя. Как ни ясен он в своем взгляде на мир и жизнь, но он никогда, однако, не оставался безучастным к тому, что вокруг него происходило, был тем эхо, с которым он сравнивал поэта. Лирика его давала «отклик» на «всякий звук» и, в общем мудро-уравновешенная, все-таки посылала «ответ» не только песне «девы за холмом», но и «грохоту громов и гласу бури и валов». Вот почему было время, когда движение, создавшее декабризм, находило в нем горячего приверженца. В эти годы он не только пишет ряд стихотворений, которые могли увидеть свет лишь многие десятки лет спустя, но и все его творчество носит необузданный характер и состоит из сочувственного изображения разбойничьей психологии, из прославления свободы первобытной жизни, из проклятий условности цивилизованной жизни и т. п. Но вот бурное кипение молодости улеглось, декабризм пошел насмарку, Пушкин из вынужденного деревенского уединения переходит в высшие петербургские сферы и творчество его отливается в совершенно иные формы: пишется «Чернь», «Клеветникам России», наступает период того «объективного» творчества, которое уже в самом желании полного отрешения от суеты жизни заключало в себе вполне определенную программу.

И если связь теоретических воззрений и художественной деятельности можно проследить относительно такого представителя «чистой красоты», как Пушкин, то что уже и говорить о писателях, которые тем преимущественно и славны, что отражали всяческие «моменты» своего времени и были воплощением тревожных поисков новых идеалов. Выросши в обществе Белинского на освободительных началах 40-х гг., Тургенев дал «Анibalовскую клятву» бороться с крепостным правом и написал «Записки охотника»; Толстой – издатель «Ясной Поляны» и автор «Казачков», Толстой – автор нравственно-социальных трактатов и Толстой – художник последних 20 лет – одно и то же лицо; Достоевский – автор публицистического «Дневника писателя» и Достоевский – автор «Братьев Карамазовых» тоже ни в чем не расходятся. И так далее, и так далее.

Но Гоголь-теоретик и Гоголь-художник как будто два совсем разных лица и то настроение, которое Гоголь-художник создавал, Гоголь-мыслитель с той же силою разрушал. Разрушал не только тем, что общий смысл его творчества шел в одну сторону, а теоретическая проповедь в совершенно противоположную, но разрушал прямо и непосредственно, посвятив всю последнюю полосу своей жизни борьбе с собственными произведениями. «Переписка с друзьями», как объяснял автор в предисловии, для того издавалась, чтобы положить конец ложному толкованию его «необдуманных и незрелых» сочинений, которые «почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла».

При таком, едва ли не единственном во всей истории литературы, зрелище борьбы автора с собственными произведениями сама собою рождалась мысль об инстинктивном, почти бессознательном творчестве. Уже Белинский, только что вырвавши Гоголя из сердца своего как автора «Переписки», но продолжая его все-таки бесконечно любить как художника, в этой бессознательности видит единственное объяснение непримиримого противоречия. В печати Белинский только собирался выяснить такое свое понимание гоголевского творчества и уже заранее мучительно страдал при мысли, что цензура помешает и что «надо будет много говорить не так, как думаешь». Но в длинном письме к Кавелину, которое, как всегда у него, больше статья, чем письмо, он категорически заявляет: «что Гоголь действо-

вал бессознательно – это очевидно». Белинский даже находит тут известный закон: «Корш больше чем прав, говоря, что все гении так действуют. Я от этой мысли года три назад с ума сходил, а теперь она для меня аксиома, без исключений» (Пыпин, Белинский, т. II, стр. 320).

В печати мысль об инстинктивности творчества Гоголя становится общераспространенной со середины 50-х гг., когда появились первые серьезные материалы для биографии Гоголя и началось изучение его литературного творчества в связи с его личностью. Уже первая обстоятельная биография – книга Кулиша и тем, же Кулишем изданные письма, в которых ярко отразился и душевный, и духовный облики Гоголя, дали Чернышевскому возможность установить, даже помимо «Переписки», полную противоположность между бессознательным глубоко-разрушительным смыслом произведений Гоголя и столь же глубоким консерватизмом его сознательных общественно-политических идеалов.

За полвека, отделяющие нас от биографии Кулиша и статей Чернышевского, появились целые горы равных новых биографических материалов о Гоголе и неизданных писем его. И все это как будто подтвердило освещение гоголевского творчества, впервые ясно формулированное Чернышевским. Последние годы реакционной борьбы против идей 40-х и 60-х годов принесли несколько попыток «оправдать» Гоголя, якобы «оклеветанного» Белинским в его знаменитом письме, вызванном появлением «Переписки с друзьями». Но эти попытки главным образом стремятся только к тому, чтобы показать, как искренен был Гоголь в своей книге, как прав был он, восставая против излюбленных «шаблонов» либерализма и т. д. Собственно же самого факта полного разлада между Гоголем, своим «горьким смехом» подкопавшим весь наш «ancien regime», и Гоголем, в «Переписке» провозгласившим ряд византийских идеалов, наши новейшие проповедники византизма ни мало не поколебали.

В связи с противоположностью человека и художника, Чернышевский установил и тот, до сих пор, однако, все еще мало проникший в общее сознание факт, что насквозь пропитанная таким мрачным обскурантизмом «Переписка» ни мало не представляет собою какую-то перемену фронта, как тогда все думали и как можно заключить из неистово-пламенного негодования Белинского. Никакого перелома на самом деле не было, вплоть до того невыносимо-наставнического тона и высокомерия, которые восстановили против «Переписки» даже общественно-политических единомышленников Гоголя. На самом деле между теоретическими воззрениями Гоголя в эпоху создания «Ревизора» и «Мертвых душ» и принципами, нашедшими выражение в «Переписке», никакой разницы не было. «Переписка», следовательно, создавалась по тому же инстинкту, по которому созданы и великие произведения Гоголя.

И это, в общих только чертах высказанное, объяснение Чернышевского на первый взгляд тоже вполне подтверждается всеми позднее изданными материалами о Гоголе. В них нетрудно найти ряд прямых доказательств Того, что если бы Гоголь хоть сколько-нибудь предчувствовал прием, который встретила его книга, он никогда бы ее не издал. При всей своей отчужденности от мира и искреннем желании убежать от него, Гоголь был очень практичен и никогда сознательно не предпринимал шагов, которые ему вредили. Издавая «Переписку», он был искренно убежден, что книга понравится и произведет большое и хорошее для автора впечатление. Неудача книги он приписывал литературным проискам, забывая, какой энтузиазм возбуждала его литературная деятельность именно в тех сферах, которые он теперь так против себя восстановил. Побуждений и точки зрения Белинского он прямо не понял и свой (частный) ответ ему свел к вещам второстепенным. В своей «Авторской исповеди» Гоголь разделяет отклики, вызванные «Перепиской», на три разряда: *«первое* что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на внимание всей России и может преобразовывать целое общество; *второе*, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими

достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на её законное место». Только эти три сорта впечатлений я подметил Гоголь и протест Белинского тут даже не зарегистрирован. Отнюдь не следует в данном случае примешивать цензурные затруднения. Если бы Гоголя сущность негодования Белинского сколько-нибудь затронула, он бы, конечно, нашел форму для ответа. Кое-что он даже и опровергал. Так, напр., он нашел возможность в той же «Авторской исповеди» мимоходом возразить, что он не против народного просвещения. Но возразил именно мимоходом, вяло, очевидно не заинтересованный. Гоголь всегда считал Белинского «чудаком» и с известным недоумением относился к его восторженным похвалам. Теперь он взглянул на негодование Белинского с тем же самым недоумением.

Белинский, как мы знаем, сначала «с ума сходил» от мысли, что всякий гений творит бессознательно. Затем он мало того, что примирился с этою мыслью, но, со свойственной ему способностью сейчас же все доводить до крайних пределов, пришел к убеждению, что бессознательность-то и есть главное отличие гения от обыкновенного таланта. В том же письме к Кавелину, которое уже было цитировано, он говорит:

«Гений – инстинкт, а потому и откровение: бросить в мир мысль и оплодотворить ею его будущее, сам не зная, что сделал, и думая сделать совсем не то. Сознательно действует талант, но за то он кастрат, бесплоден, своего ничего не родит, но за то лелеет, растит и крепит детей гения».

С тех пор, как написаны эти слова, теория не то что полной бессознательности творчества, но строгой его зависимости от условий, вне его лежащих, сделала огромные завоевания: страшно сузила историческая школа значение авторского произволения и сущность писательства сведена к отражательной способности. Если вне условий времени и пространства все еще поставлена самая сила отражательной способности, т. е. размеры и свойства таланта, то в содержании воспроизводимого всякий историк литературы ищет ту незримо в воздухе носящуюся потребность времени, которую всегда нетрудно найти в каждом крупном произведении, ударившем по сердцам «с неведомою силой». Строй теоретических воззрений, *лично* принадлежащих самому художнику, таким образом, отходит на второй план. С этой точки зрения разлад между Гоголем-художником и Гоголем – мыслителем, представляя, конечно, большой интерес (Потому что, как мы видели из вышеприведенных примеров, обыкновенно наблюдается тесная связь между творчеством писателя и его мирозерцанием), не заключает, однако, в себе никакого непримиримого противоречия.

А все-таки, не по «науке», а просто «по человечеству», есть что-то глубоко-обидное в том, что мы не имеем возможности любить одинаково-горячею любовью всю совокупность духовной личности великого писателя. Грубо выражаясь, выходит, что человек, от которого пошло все то, чем сильна новейшая русская литература, не ведал, что творил. Можем ли мы и должны-ли мы примириться с такою постановкой вопроса, уничтожающей все обаяние, связанное для нас с понятием о волшебной силе всякого писателя-творца, открывающего нам далекие перспективы там, где мы, простые читатели, до него никогда их не подозревали, осмысливающего для нас явления, мимо которых мы до него проходили совершенно равнодушно?

Не помним в точности, кто из русских социологов, разбирая разные теории причинности исторических явлений, говорит и о той «коросте», которою легко могут покрыться эти сами по себе вполне верные теории. Он всецело, конечно, присоединяется к тому, что историческая жизнь есть результат разных органических и непреложных условий. Но, вместе с тем, спешит предостеречь почитателей строго «научного» мировоззрения от одной ошибки, в которой так легко впасть при чрезмерной последовательности. Если, в самом деле, все на свете так причинно, если, так сказать, падение всякого волоса с головы обусловлено целым

комплексом подготовительных условий, то при чем тут окажется живая человеческая личность, её стремление к добру и злу и т. д.? Не один-ли тут шаг даже до восточного фатализма? И вот наш социолог энергично вооружается против такого принижения человеческой личности и справедливо называет всякое желание безмолвно покориться пред историческим ходом вещей злокачественной «коростой» на здоровом теле теории исторической причинности. Условия условиями, а живая человеческая личность, при всех стеснениях «исторических условий», тоже величина самодовлеющая.

Такой же коростой на здоровом теле теории писательства, как отражении потребностей времени, нам представляется взгляд на одного из величайших деятелей русской литературы, как на человека, который не ведал, что он творил. Думается, что, не опускаясь в философские глубины вопроса о сущности творчества и об элементах бессознательности в нем, мы должны непременно попытаться найти ясность в собственной духовной жизни писателя, который внес такую ясность в русское общественное самосознание, которому мы обязаны самым отчетливым анализом условий нашего общественного быта.

И думается, что усмотреть полное единство всей творческой деятельности Гоголя и полную сознательность её совсем не так трудно. Для этого нужно только расширить понятие о «направлении», исходя из которого обыкновенно констатируют глубокий разлад между началом и концом гоголевского творчества, между внутренним смыслом его произведений и тем ужасом, с которым он позднее от них отрекся. Можно относиться к понятию о «направлении», как к понятию видовому, и как к понятию родовому. В первом случае, конечно, задача отыскания единства в духовной личности Гоголя совершенно безнадежна. Если сводить вопрос о «направлении» только к подразделению на общественно-политические партии, к консерватизму и либерализму, программам прогрессивным и реакционным, к принципам свободного мышления и клерикализму, тогда, несомненно, бездна между Гоголем «Ревизора» и Гоголем «Переписки» будет такая, что никакого соединительного моста тут не перекинешь.

Но когда речь идет о том, чтобы понять психологию писателя, который так мучительно метался всю жизнь, как Гоголь, то нельзя ограничиться одним частным, видовым понятием, потому что то или другое «направление» можно себе усвоить, не меняя общего душевного склада своего. Надо подняться до широкого родового понятия о «направлении», не ограничивающегося такою переменною величиною, как то или другое отношение к общественно-политическим вопросам. Надо сосредоточить свое внимание на основном психологическом рисунке, на который обстоятельства времени и места накладывают только ту или другую краску, не меняя, однако, её сущности и основных очертаний.

Чтобы сделать нашу мысль вполне ясной, возьмем писателя, который прямо неистово переходил от одного общественно-политического мирозерцания к другому и который тем не менее, по общему признанию, остается единым во всех этих своих киданиях из стороны в сторону. Мы говорим о Белинском. Если нельзя перекинуть никакого соединительного моста над бездной, отделяющей неумолимую язвительность «Ревизора» от елейной покорности «Переписки», то еще более исключают одна другую отдельные полосы общественно-политического мирозерцания Белинского. Не он ли иступленно преклонялся пред всею совокупностью нашего общественно-государственного строя 30-х годов и не он ли с той же иступленностью поносил его через несколько лет? Следовательно, с видовой точки зрения отдельных мирозерцаний Белинский есть воплощение непримиримых противоречий. Но личность его получает полное единство, как только мы берем родовое понятие о «направлении», как о совокупности тех глубоких предрасположений, с которыми человек рождается. Из консерватора стать радикалом и наоборот нетрудно, если мы сколько-нибудь искренно составили себе то или другое мирозерцание. Жизнь или наука развернула пред нами новые стороны, пред нами открылись другие горизонты, мы увидели ошибочность прежнего сво-

его понимания вещей и если мирозерцание для нас не карьерная вывеска, мы его меняем, конечно, с душевной болью и муками, но, все-таки, всецело и радикально.

Но никакие уроки жизни и истории не могут изменить тех глубинных основ, которые заложены в человека, как совокупность темперамента, наследственности и других стихийных элементов, а также, конечно, культурных переживаний и вместе создают его природный душевный облик. Люди рождаются с равнодушием к истине или с пламенным к ней стремлением; с легкой, но переменчивой восприимчивостью или с такою, что уже раз, что усвоено, так на век; с стремлением к наслаждению или аскетическими наклонностями; с жаждой подвига или глубоким эгоизмом; с жизнерадостностью или равнодушием к благам земным, с органической потребностью самопожертвования или столь же органической неспособностью к нему. Вот что составляет действительно основные черты всякого человеческого характера, которые под влиянием разных условий могут принять те или другие формы, но никогда не меняются по существу и одни только и дают верный ключ к пониманию душевного и духовного облика. И стоит только понять этот, как его кажется лучше всего назвать *психологический рисунок* человека, чтобы затем узнать его при всех изменениях, как мы узнаем общий тип свежего, безбородого лица юноши и в обросшем густою бородою возмужалом лице зрелого мужа и в сморщившихся, изборожденных морщинами чертах старика.

Такой психологический рисунок нам и кажется родовым понятием о «направлении», которое с этой точки зрения может отливаться в самые разнообразные комбинации, не теряя своих основных свойств и не создавая психологической загадки. С такой широкой точки зрения общего психологического рисунка выясняется полное единство духовного облика Белинского, не смотря на все его бурные переходы из одной крайности в другую. Он всегда в них остается тем же самым неистовым искателем правды, с одними и теми же лозунгами, в которые он, смотря по тому или другому переживаемому фазису *умственного* развития, вкладывает разное содержание, но которые всегда одинаково настраивают нравственное чувство читателя.

Такое же единство направления, т. е. *разряда* настроений, создаваемых, писателем Мы не преминем усмотреть и в духовном облике Гоголя, как писателя-гражданина по преимуществу. Не будем только связывать понятие о гражданском строе мысли непременно с тем или другим определенным общественно-политическим мирозерцанием. Гражданин есть тот, который в той или другой форме, но страстно и напряженно думает о благе родины, ищет пути для достижения этого блага и подчиняет все остальные свои стремления этому верховному руководящему началу. Таким гражданином Гоголь был всю свою жизнь. Пусть его произведения говорят одно, а его собственные комментарии нечто совершенно противоположное – это в данном случае не имеет никакого значения. Важен общий источник, из которого рождались и произведения, и позднейшее авторское недовольство ими. У Герцена есть превосходное сравнение для выяснения взаимного соотношения славянофильства и западничества в момент их возникновения. «У них (славянофилов) и у нас (западников), – говорит он, – запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство – безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. *как Янус, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно*». Гоголь-художник и Гоголь-теоретик совершенно такой же двуликий Янус. Пусть обе его ипостаси смотрят в разные стороны, но сердечный порыв всегда был у него тот же самый, круг интересов всегда был один и тот же. Его сколько-нибудь сильно не захватывает ни любовь, ни семейное счастье, ни область личных радостей и разочарований, ни воспроизведение обстановки, как таковой не захватывает его также почти ничего из той сферы интимных настроений человека, которое так глубоко волнует всех других писателей и занимает такое огромное место даже в произведениях таких специальных ловителей обще-

ственных «моментов», как Тургенев, Гончаров и др. Сфера интересов и воспроизведения Гоголя всегда социальная, массовая, он, за незначительными исключениями, никогда почти не рисует индивидуальных портретов, а всегда типовые, всегда набрасывает широкие картины, со множеством лиц, которые оттеняют и дополняют одно другое. Всякий характер у него выясняется не столько сам по себе, сколько по столкновению с окружающим, всякая личность у него часть общественного целого. Коллективное всегда поглощает в произведениях Гоголя индивидуальное. За исключением почти-автобиографических этюдов о муках творчества, у Гоголя нет даже героев в обычном смысле. Героями его произведений всегда являются лица собирательные, какой-нибудь класс, какое-нибудь сословие, какая-нибудь полоса жизни. Даже в стоящих особняком произведениях Гоголя из малороссийской жизни, ни мало не сатирических и, следовательно, совершенно Свободных от общественных задач, массовое, все-таки, выступает на первый план. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» нет ни одного центрального лица и героем является весь малороссийский народно-эпический быт; в «Тарасе Бульбе», не смотря на всю яркую колоритность самого Бульбы, центральное впечатление дает казачество в его совокупности.

От этого органического интереса Гоголя к общественности один только шаг к его тоске по общественному совершенству. Родившись с душою, в которую с детских лет было заложено стремление ввысь, которую именно потому и оскорбляла так глубоко грубость и низменность, и вместе с тем одаренный необыкновенною способностью к анализу, Гоголь оттого и имел глаза, так широко раскрытые на все пошлое и недостойное. Грубое непонимание Булгариных и утратившего чуткость Полевого могли принять реализм Гоголя за любовное копанье в грязи. Но в действительности Гоголь принадлежал к самым экзотическим натурам своего времени и болезненная жажда идеального, с родственным пониманием изображенная Гоголем в лице художника Пискарева из «Невского проспекта» и художника Чарткова в «Портрете», есть точное изображение идеальных порывов, волновавших собственную душу автора. Без этой страстной жажды высокого зрелище пошлости никогда бы не могло так глубоко его задевать, не было бы. столько последовательности в том неумолимом постоянстве, с которым Гоголь изображал пошлость и отступление от интересов общего блага. И в этой-то страстной потребности, с одной стороны, отыскать все недостойное и вытащить его на свет Божий для всенародной казни с другой стороны, в глубочайшей скорби о том, что пошлость заедает мир, и заключается настоящее «направление» Гоголя. Ему он никогда не изменял и в этом отношении психологический рисунок его души был всегда один и тот же. Пусть он ошибался, направляя под конец жизни поиски спасительных начал туда, где их было всего менее – это была только печальная ошибка, ошибка фактическая, но не по намерениям. И в обскурантском мировоззрении «Переписки», и в его неудачных с художественной точки зрения, но глубоко-выстраданных попытках второй части «Мертвых душ» дать не только отрицательные, но и положительные типы, столько же глубокой жажды добра, как и в грозной обличительной деятельности, положившей начало русскому общественному самосознанию.

И вот зададим себе опять тот же самый вопрос: могла ли душевная деятельность такой страшной напряженности, такого последовательного направления ударов в одну точку происходить бессознательно? Мог-ли человек такой гениальной проницательности, сумевший пробраться даже в душу какого-нибудь лишенного человеческого образа Акакие Акакиевича, оказаться невнимательным к тому, что происходит в его собственной душе?

Поищем ответа на этот вопрос в только что вышедших под редакцией В. И. Шенрока четырех убористых томах переписки Гоголя, которая прежде была разбросана по многим десяткам журнальных книжек и была почти недоступна сколько-нибудь систематическому ознакомлению.

II

Письма, изданные г. Шенроком, не представляют собою какой-нибудь полной историко-литературной новинки. Большинство из них было уже напечатано. Но, во-первых, не всегда полностью. Особенной кастрации подверглись письма, появившиеся вскоре после смерти Гоголя в собрании его сочинений, вышедшем под редакцией Кулиша в 1857 г. (6 томное). Многие, именно все очень интимное, было выброшено самим редактором, которому надо было считаться с щепетильностью еще живой тогда матери Гоголя и других его родственников. Но немало было и такого, что пришлось опустить и по требованию цензуры. Хотя тогда уже наступали «новые веяния», однако, надо было поступаться фразами и отдельными словами, нецензурность которых теперь уже мудрено понять. Так, напр., была изгнана квалификация Петербурга как «чухонского города», была выброшена фраза Гоголя, что на открытие памятника Александру I наехало «офицера и солдатства страшное множество – и прусских, и голландских, и австрийских. Говядина и водка вздорили страшно». Переписка Гоголя с его земляком Максимовичем, променявшим кафедру в Москве на профессию в Киеве, была, очевидно, подвергнута изучению с точки зрения того щедринского сердцеведа, который открыл заговор с целью отделения Миргорода от Малороссии. По этому не мог увидеть света такой возглас Гоголя: «бросьте в самом деле кацапию, да поезжайте в гетманщину» и т. д.

Помимо восстановления всех этих пропусков, изданные А. Шенроком четыре тома Гоголевской переписки имеют тот первостепенный историко-литературный интерес, что хронологическое распределение как бы развертывает перед нами дневник великого писателя и дает возможность следить за постепенным нарастанием и обострением его настроений.

* * *

Переписка начинается с очень раннего возраста Гоголя – с 1820 г., когда 11 летний мальчик был отправлен в Нежинский лицей или «гимназию высших наук». Письма Гоголя-мальчика, прежде всего, поражают своею трезвостью и деловитостью. Всякий, кто приступает к изучению их с обычным представлением о громадной роли бессознательного элемента в духовной жизни Гоголя, не может не быть удивлен полным отсутствием в них детскости и полною сознательностью. Это тон вполне взрослого человека. Правда, встречаются в них и очень сентиментальные места, как будто свидетельствующие о детской чувствительности. Так, напр., в первых письмах из Нежина он сам же сообщает «дражайшим родителям» о совершенно ребяческой плаксивости своей: «всякий Божий день слезы рекой льются, и сам не знаю отчего, а особливо когда вспомню об вас, то градом так и льются. Прощайте, дражайшие родители! далее слезы мешают мне писать». В позднейших письмах Нежинского периода несравненно реже, но изредка тоже попадают такие же детски-чувствительные места, как попадают, впрочем, подобные же сообщения о «льющихся слезах» и в письмах Гоголя-мужа. (Ср. напр. письмо к Жуковскому от 1836 г. I, 383). Но все это имеет свое объяснение, во-первых, в том, что письма молодого Гоголя весьма часто были для него упражнениями в слоге и, конечно, в слоге высоком, а затем тут сказалась одна из существенных сторон всего его психологического склада. Мы говорим о той загадочной смеси глубочайшей искренности с хохлацкой хитростью, которую так быстро приметил в Гоголе даже очень любивший его Пушкин и которая составляет одну из основных черт его характера. В письмах Гоголя-отрока эта смесь выступает очень ярко. Почти каждое письмо его состоит из двух частей. Сначала идут величайшие нежности и проявления сыновней любви, нежно-

сти, безусловно искренней в основе, но всегда на несколько градусов надбавленной. А затем обязательно следует маленький, но настойчивый постскриптум или мимоходом брошенная просьба присылки денег, книг, вещей. И родители, а в особенности мать, очень любившие своего «Никошу», знали эту повадку сына, чем и объясняется, что они по целым месяцам не отвечали ему на его пересыпанные нежностями просьбы. Вот небольшой образец этой своеобразной переписки:

«Дражайшие родители, папенька и маменька. Долгое молчание ваше удивляет меня. Не знаю, какая тому причина. Месяца три не подучаю от вас известия. Это повергает меня в горестное уныние. Я начинаю думать, не случилось-ли вам какого несчастья (чего сохрани Бог). Ради Бога, не терзайте меня сим печальным недоумением. Утешьте хоть двумя словами...

Р. С. Я с нетерпением ожидаю присылки тех вещей, о которых я вас просил. Прошу вас покорнейше прислать мне для рисования тонкого полотна несколько аршин». (I, 20).

Без такого рода постскриптума или мимоходной по форме, но настоятельной по существу просьбы не обходится почти ни одно письмо молодого лицеиста, как редко, впрочем, обходится без них и вся вообще переписка Гоголя, даже с интимнейшими его друзьями.

Известно, что эта характерная черта гоголевской переписки не раз уже восстанавливала против него тех, кому приходилось ее изучать. На что был незлобивый человек и писатель покойный Орест Федорович Миллер. Но когда ему пришлось писать вступительную заметку к некоторым письмам Гоголя, напечатанным в «Русской Старине» (1875 г., т. XIV), и когда буквально в каждом из этих писем приходилось иметь дело с такою схемою: сначала ряд рассуждений о высоких предметах, а затем просьбы или поручения, — он не вытерпел и разразился характеристикой, в которой исчезло всякое доброе чувство к великому писателю. По этой характеристике Гоголь был чем-то вроде систематического вымогателя денег и подачек всякого рода. Мы не станем теперь останавливаться на искреннем негодовании не только прямодушного, но в данном случае и близорукого в своей прямолинейности Миллера. Он совершенно упустил из виду, что Гоголь был страшно замкнутый в себе и скрытный человек и что он почти не ощущал потребности в том, чтобы с кем-нибудь делиться мыслями и впечатлениями и кому-нибудь изливать свою душу. В огромном большинстве случаев он писал письма *только* тогда, когда ему что-нибудь нужно было. Неудивительно, следовательно, что в его письмах столько просьб и вообще делового. Значительнейшая часть его переписки — это деловые просьбы по существу, в которых все остальное писалось больше для прилику. Не станем также теперь останавливаться на квалификации этого приема, который получит свое правильное освещение только тогда, когда мы его приведем в связь со всем существом Гоголя, когда мы поймем, что Гоголь весь состоит из смеси добра и зла, из искренности и притворства, из подъемов и падений, что он, по собственному выражению, «сгорал» в поисках правды и, вместе с тем, когда им овладевали темные побуждения, был весьма себе на уме. Итак, не станем пока останавливаться на подыскивании надлежащего объяснения в деловым кончикам гоголевских писем. Извлечем пока только из этой черты не маловажный таки довод в пользу основного тезиса нашей статьи, убедимся из неё лишний раз, что бессознательность всего менее характеризуют Гоголя: хитрость и задние цели, во всяком случае, исключают бессознательность.

Тон взрослого и делового человека, характеризующий письма Гоголя-отрока, особенно поражает в тех случаях, когда известная утрата душевного равновесия никого бы не удивила. В апреле 1825 года он получил известие о смерти отца, смерти неожиданной, потому что обычное недомогание Василия Афанасьевича не давало никакого повода ожидать столь быстрого конца. Отца своего Гоголь несомненно очень любил и смерть его, как мы сейчас увидим из его же собственного письма, несомненно произвела на него потрясающее впечатление. Но посмотрите, каким философом ведет себя 16 летний лицеист, какую огромную

способность сдерживать себя проявляет он при этих совершенно необычных условиях. Вот замечательное и в высшей степени характерное письмо, которое он пишет матери и в котором скорее является её старшим братом, чем сыном:

«Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однако ж, не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе ту печаль, но уже не порывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему.

Благословляю тебя, священная вера. В тебе только я нахожу источник утешения и утления своей горести, Так, дражайшая маменька, я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что б меня привязывало к жизни? разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга, и всего, что есть милее, что есть драгоценнее?

Так, я имею вас, и еще не оставлен судьбой. Вы одни теперь предметом моей привязанности, одни, которые можете утешить печального, успокоить горестного. Вам посвящаю всю жизнь свою. Буду услаждать ваши каждые минуты. Сделаю все то, что может сделать чувствительный, благодарный сын. Ах, меня беспокоит более всего ваша горесть! Сделайте милость, уменьшите ее, сколько возможно, так, как я уменьшил свою. Прибегните так, как я прибегнул, к Всемогущему»... (I, 26).

Более чем странное впечатление оставляет этот столь важный по вызвавшим его обстоятельствам отголосок внутренней жизни юноши. При всей несомненно глубоко-искренней религиозности и любви к матери, сколько тут риторического элемента и отсутствия непосредственности. Перед нами какой-то образчик мудро-почтительного письма из письмовника или нравоучительной книжки. Какое отсутствие какого бы то ни было «лирического беспорядка», какая стройность изложения, какой подходящий стиль в этом очевидно тщательно – обработанном и обдуманном, скорее «послании», чем просто письме. А в заключение еще обычный постскриптум: «Ежели я вас этим не побеспокою и ежели вы можете, то пришлите мне 10 рублей на книгу, которую мне надобно купить, под заглавием „Курс Российской Словесности“, ибо у нас ее проходят». И постскриптум-то еще не простой, а с известным усилением эффекта, потому что, изложивши свою просьбу о деньгах на покупку книги, Гоголь благонаравно прибавляет: «на свои нужды мне ничего не надобно». Итак, даже в такой совершенно необычайный и экстренный момент жизни рассудочность ярко окрасила собою чистый и непосредственный порыв.

Но рядом с рассудочностью и деловитостью, отроческие письма Гоголя дают нам возможность заглянуть и в лучшую часть его души. Мы найдем здесь и богатейшие доводы для второго тезиса настоящей статьи, для уяснения того, как много высоко-гражданских стремлений таилось в глубине этой всегда задумчивой, всегда серьезной натуры.

Особенности духовного существа Гоголя особенно ярко выделяются на тусклом фоне лицейского быта. Это, в общем, была обстановка удивительно-плоская и ничтожная, которой были чужды какие бы то ни было стремления ввысь. Между учителями почти ни одного, сколько-нибудь будившего дух, между товарищами огромное большинство люди, которых Гоголь окрестил эпитетом «существователи» – добрые малые, но очень уже погрязшие в малороссийской лени и умственной неповоротливости. И Гоголь отчетливо сознавал ничтожество этой обстановки и с тоской писал одному из немногих близких товарищей своих – Г. И. Высоцкому, годом раньше его кончившему курс и уехавшему в Петербург:

«Как тяжело быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корой своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники ваши. Только между товарищами, и то не многими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся в твоих глазах, послышится и мне» (I, 76).

В первых строках сейчас приведенного отрывка мы слышим мотив, который начинает весьма определенно звучать в душе Гоголя. Им Начинает овладевать страстное стремление выбиться из «низкой неизвестности» и «означить свое существование в мире» (I, 89). Мечтая о том, как он будет жить в Петербурге, который ему кажется чем-то волшебным, но попасть куда он мало надеется, Гоголь с тоской восклицает в письме к тому же любезному его сердцу Высоцкому:

«Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду-ли я точно жить в таком райском месте, иди неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире» (I, 78).

В это-то время и родился злосчастный литературный первенец Гоголя – идиллия «Ганс Кюхельгартен», напечатанная 2 года спустя, но, так сказать, выстраданная именно в эпоху порываний в Петербург. Покойный Тихонравов и г. Шенрок к своим «Материалах для биографии Н. В. Гоголя» давно уже подчеркнули автобиографическое значение «Ганса Кюхельгартена», где в форме рвущегося уйти из мирной домашней обстановки Ганса автор передал свою собственную тоску по более блестящей доле. Часто такими же, как в письмах, самыми словами и выражениями Ганс Кюхельгартен восклицает:

Все решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславыю в жертву?
При жизни быть для мира мертву!
Душой-ли, славу полюбившей,
Ничтожность в мире полюбить?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.